

Н. РУДНИЦКИЙ

Труд сатирика

Из истории работы А. В. Сухова-Кобылина над пьесой «Дело»

Дневники А. В. Сухова-Кобылина говорят о том, что он приступил к работе над «Делом» — своей второй пьесой — в конце августа 1856 года. Работа продолжалась около пяти лет. 19 февраля 1861 года драматург, подводя итоги своего труда, заметил в дневнике: «Пиэсса мне самому очень нравится — все сладилось и сложилось... Мне пришла мысль напечатать ее»¹.

Но мысль эта далеко не сразу могла быть осуществлена в России — «Дело» попало под цензурный запрет. И потому Сухово-Кобылин, как видно из его дневника, поначалу напечатал пьесу в Лейпциге за свой счет минимальным тиражом в двадцать пять экземпляров. Его запись о получении этого тиража весьма характерна.

«На столе лежала стопа новеньких 25 экземпляров Дела. Они смотрели как новорожденные и как бы вмиг оживились. Книжки эти — собственно Я. Мне было приятно, — и сквозь всю грусть, которой особенно полно мое сердце во время странствий и вояжей, — проникло чувство удовлетворения, что вообще редко со мной случается»².

Некоторые сведения об этом издании «Дела» появлялись в русской прессе. Так, например, «Вестник Европы» (1869, июль) отмечал, что пьеса в Москве была известна «только немногим по заграничному изданию». Речь идет, стало быть, о библиографической редкости, разыскать которую пока не удалось. Существует, однако, копия, сделанная писарской рукой с лейпцигского издания 1861 года и обнаруженная нами в Центральном государственном архиве литературы и искусства (фонд 438, инв. № 188).

Ознакомление с этой копией и сличение ее с текстом московского издания всей трилогии Сухова-Кобылина, выпущенного в свет в 1869 году, показало, что хотя автор был в 1861 году убежден в завершенности своего произведения, удовлетворен им, он все же впоследствии заново обратился к тексту пьесы и на протяжении восьми лет, разделяющих лейпцигское и московское издания, внес в «Дело» много существенных исправлений. Исправления эти носили характер художественной отделки и совершенно не касались, по сути дела, содержания пьесы, которое в 1861 году уже полностью определилось. Но художественная форма, в которой это содержание было выражено, претерпела ряд интереснейших изменений. Поправки и доделки, осуществленные Сухово-Кобылиным, позволили писателю точнее и полнее выявить смысл произведения. Сличая сейчас варианты «Дела» 1861 и 1869 годов, мы имеем, таким образом, редкую возможность проследить за работой выдающегося драматурга непосредственно над художественной формой.

А поскольку содержание «Дела» выражено в форме сатирической, то мы, следовательно, можем увидеть, как добивался Сухово-Кобылин обострения и концентрированности сатирического действия. Смысл выражения «сатирическое заостре-

¹ ЦГЛА, фонд 438, инв. № 224, лист 32.

² ЦГЛА, фонд 438, инв. № 227, лист 13.

ние» раскрывается с полной наглядностью, когда мы сравниваем варианты «Дела», разделенные восемью годами писательского труда.

Всю значительность той творческой задачи, которую поставил перед собой Сухово-Кобылин в «Деле», обращая оружие сатиры против чиновничества, показывает нам ленинская оценка царской бюрократии.

«Ни в одной стране, — писал В. И. Ленин, — нет такого множества чиновников, как в России. И чиновники эти стоят над безгласным народом, как темный лес... Армия чиновников, которые народом не выбраны и не обязаны давать ответ народу, соткала густую паутину, и в этой паутине люди бьются, как мухи. Царское самодержавие есть крепостная зависимость народа от чиновников и больше всего от полиции»¹.

Уже самый список действующих лиц «Дела» показывал, что автор пьесы решил показать гнилость чиновной бюрократической лестницы «сверху донизу — от «весьма важного лица», перед которым «всё, и сам автор, безмолствует», до «колес, шкивов и шестерен в бюрократии», от «начальств» и «сил» до «подчиненностей». Этими «данностями» «Дела» смело и открыто подчеркивалось, что речь идет о всем государственном бюрократическом аппарате, грабительском, гнилом, жестоком, бездушном.

Ясно, что, ставя перед собой столь смелые задачи, Сухово-Кобылин не мог не сознавать всей их ответственности. Ясно поэтому, что историю злоключений Муромского, безвинно попавшего в лапы чиновников, он стремился воплотить в наиболее совершенной художественной форме. И не случайно именно в период работы над «Делом» он неоднократно задумывался над вопросами формы, художественного мастерства. «Истинно-естественное в искусстве, — замечал он в своем дневнике, — не есть непосредственное, а, напротив, что прошло через опосредствование трудом, рефлексом, что побывало в горне внутренней работы и там переплавилось в единый штык».

Это стремление «переплавить в единый штык» гневной сатиры свою ненависть к чиновничеству и заставляло Сухово-Кобылина снова и снова, с редкой настойчивостью совершенствовать художественную форму «Дела».

Для того чтобы характер кропотливого творческого труда сатирика стал ясен, обратимся к тексту одного только, но весьма значительного явления «Дела» — шестого явления второго действия, когда втянутый в хитросплетения судебного процесса помещик Муромский приходит к «действительному тайному советнику при звезде» Варравину, от которого зависит его судьба. В этом явлении стремление Муромского добиться правды, доказать свою невиновность сталкивается со стремлением Варравина сорвать с просителя крупную взятку.

Текст 1861 года

«Варравин, уткнувшись в бумаги, пишет. Муромский входит.

Муромский. Позвольте себя представить — ярославский помещик, отставной.

Варравин (*продолжая писать*).
Мое почтение.

Муромский (*несколько постоявши*). Наслышан будучи о вашей справедливости и теплоте душевной, прошу принять участие в моем деле».

Текст 1869 года

«Варравин, уткнувшись в бумаги, пишет. Муромский входит.

Муромский. Позвольте себя представить — ярославский помещик, капитан Муромский.

Варравин (*продолжая писать*).
Мое почтение. (*Молчание*.)

Муромский (*несколько постоявши*). Наслышан будучи о вашей справедливости, прошу принять участие».

На первый взгляд оба варианта почти совершенно идентичны. Затем, однако, мы обнаруживаем три сокращения, сделанные автором, в этом весьма лаконичном начале явления. Сухово-Кобылин вычеркнул слова «отставной», «и теплоте душевной» и «в моем деле». Кажется, что эти сокращения вызваны просто желанием

¹ В. И. Ленин, Соч. т. 6, стр. 334.

избавиться от лишних слов, добиться легкости, простоты, энергичности каждой фразы. Но если вчитаться внимательней, то мы увидим, что в результате сокращений речь Муромского сразу меняет свой тон, свой характер. В первой фразе Муромский, упоминая о своем военном прошлом, не пользуется уже готовой обиходной формулой «отставной капитан», а как бы настойчиво приглашает Варравина обратить внимание на этот существенный факт его биографии. Вторая же фраза Муромского из заготовленного заранее стандартно-вежливого и приниженного обращения превращается в обращение взволнованное, активное. Фразе придается отрывистость, обнаруживающая ее эмоциональность. Кроме того, после слов Варравина делается ремарка: «Молчание». Ремарка эта призвана подчеркнуть сложность положения Муромского и полное нежелание Варравина (прекрасно знающего, зачем Муромский пришел) помочь ему. Более того, это «молчание», имеющее целью сбить просителя с толку, озадачить его, знаменует собой начало запугивания, которое последовательно, как мы увидим сейчас, осуществляет Варравин...

«Варравин (пишет и указывает на стул). Не уютно ли? Садитесь. Впрочем, едва ли в чем могу быть полезен.

Муромский. Благодарный ваш взгляд всегда будет полезен.

Варравин (пишет). Ошибаетесь. В ведомстве нашем ход делопроизводства так устроен, что личный взгляд ничего не значит. Самые факты говорят за себя и сами подвергают себя силе закона. (Поворачиваясь к Муромскому и закрывая бумагу.) Впрочем... в чем состоит просьба ваша?

Муромский (очень мягко). Вам, конечно, неизвестно дело, возникшее по случаю похищения у меня солитера одним губернским секретарем Кречинским.

Варравин (помяче). Оно находится у нас на рассмотрении, кажется, позалежалось. Не взыщите. Дел у нас такое множество, что едва хватает сил. Со всех концов отечества нашего стекаются к нам просьбы, жалобы и как бы вопли угнетенных собратьев; дела труднейшие и запутаннейшие, из которых каждое требует напряженного усилия душевного. Внимание наше, разбиваясь на тысячи сторон, совершенно исчезает, и мы имеем сходство с Титанами, которые, сражаясь с горами, сами под их тяжестью погибают. (Оправляется с удовольствием.)

Муромский. Потому-то я особенно и стремлюсь обратиться благодарное внимание ваше на это дело.

«Варравин (пишет — указывает на стул). Садитесь. (Муромский садится; молчание). Едва ли в чем могу быть полезен.

Муромский. Благодарный ваш взгляд всегда полезен.

Варравин (пишет). Ошибаетесь. В ведомстве нашем ход делопроизводства устроен так, что личный взгляд ничего не значит. (Поворачиваясь к Муромскому и закрывая бумагу.) Впрочем... в чем состоит просьба ваша?

Муромский (очень мягко). Вам, конечно, известно дело о похищении у меня солитера губернским секретарем Кречинским.

Варравин (помяче). Оно находится у нас на рассмотрении и несколько залежалось. Не взыщите. Дел у нас такое множество, что едва хватает сил. Со всех концов отечества нашего стекаются к нам просьбы, жалобы и как бы вопли угнетенных собратьев; дела труднейшие и запутаннейшие. Внимание наше, разбиваясь на тысячи сторон, совершенно исчезает, и мы имеем сходство с Титанами, которые, сражаясь с горами, сами под их тяжестью погибают. (Оправляется с удовольствием.)

Муромский. Потому-то я стремлюсь обратиться внимание ваше.

Варравин. По мере сил, сударь, по мере сил.

Муромский. Дело по существу простое, но от судопроизводства получило такую запутанность, что я даже не могу порядком вам передать...

Варравин. По мере сил, почтеннейший, по мере сил.

Муромский. Дело по существу простое, но от судопроизводства получило такую страшную запутанность, что я даже не могу порядком вам передать...

Варравин. Прошу.

Муромский. Позвольте, ваше превосходительство, видеть: дочь моя получила в свете весьма сильную склонность к этому Кречинскому; и хотя мне то было прискорбно, но я, действительно, на брак их согласился. Это и была моя ошибка! (Вздыхает.)

Варравин (также вздыхает). Верю...»

Варравин. Прошу.

Муромский. Извольте видеть: дочь моя получила в свете склонность к этому Кречинскому; и хотя мне то было прискорбно, но — я на брак их согласился. Это и была моя ошибка! (Вздыхает.)

Варравин (также вздыхает). Верю...»

Вычеркивая такие слова, как «не угодно ли», «впрочем», «особенно», «почтеннейший», «действительно» и т. п., Сухово-Кобылин, повторяем, не только освобождает фразу от излишней словесной нагрузки, но и уточняет ее эмоциональную окраску. Слова-«амортизаторы», усиливая порой иллюзию «разговорности», неизбежно в какой-то мере вступают в противоречие с конкретностью, точностью, необходимой драматургу. «Не угодно ли? Садитесь. Впрочем, едва ли в чем могу быть полезен» — фраза, которую мог бы произнести любой чиновник, встречая докучливого просителя. Эта фраза звучит казенно, холодно, формально. Резкое, ничем не смягченное: «Садитесь. Едва ли в чем могу быть полезен, — уже чревато отказом, отзывается прямой грубостью, что вполне соответствует и характеру Варравина и его первейшей задаче в этом явлении — заставить Муромского дать взятку. И даже такой великолепный манифест бюрократического лицемерия: «Самые факты говорят за себя и сами подвергают себя силе закона, — вычеркивается Сухово-Кобылиным ради соблюдения того отрывистого, сухого и грубого тона, каким поначалу встречает Муромского Варравин.

Однако следующая реплика Варравина, несмотря на ее очевидное многословие, почти не подвергается сокращению. И это понятно: в той игре, которую ведет Варравин с Муромским, наступила новая фаза. Личное свое равнодушие, свою неприступность, свое прямое и грубое нежелание быть чутким Варравин уже показал. Теперь цель его — поразить просителя величием грандиозной бюрократической машины. Об этом Варравин говорит со смаком, с удовольствием — и перо автора, ищущее сокращений, вычеркивает только чуждую персонажу сентиментальную ссылку на «усилия душевные». Характерно также, что слова Варравина о деле, которое «кажется, позалежалось», имеющие оттенок извинения перед Муромским, заменяются словами «несколько залежалось». Слово «несколько» должно подчеркнуть незначительность этой задержки: в глазах Варравина «залежалось» звучит коротко и бегло сравнительно с «позалежалось» — и вот уже совершенно исчез оттенок извинения, сменившись оттенком пренебрежения.

Точно такой же, поистине ювелирной обработке подвергается речь Муромского. Едва заметные сокращения полностью меняют ритм и «дыхание» фразы, а вместе с тем и ее эмоциональное содержание. Когда Муромский говорит: «Потому-то я особенно и стремлюсь обратить благосклонное внимание ваше на это дело», — то законченность и уравновешенность фразы выражают его почтительную готовность признать ничтожество своей особы и своей просьбы перед огромным, сложным и запутанным механизмом «делопроизводства», который ему только что обрисовал Варравин. Когда же Муромский говорит: «Потому-то я и стрем-

люсь обратить внимание ваше», — то фраза, неожиданно обрываясь, становится порывистой, ритм ее приобретает остроту, энергию, в ней слышится боль.

Сухово-Кобылин так редактирует текст, что обычные взаимоотношения чиновника и просителя все больше конкретизируются, обе фигуры становятся все определеннее, чиновник с каждым движением пера приобретает более точные черты Варравина, вымогающего взятку, проситель — черты Муромского, ищущего правды.

Стремление к индивидуализации, к наиболее активному выявлению эмоционального состояния персонажей — одно из средств сатирического заострения, которыми пользуется Сухово-Кобылин.

Вот еще более яркий пример такого заострения.

Несколько дальше разговор Варравина с Муромским (по изданию 1861 года) звучал так:

«Муромский. Уголовное?! Побойтесь бога! За то, что девушка из беды жениха выручает; да она кровь отдаст; примите в соображение ее привязанность, увлечение!

Варравин *(с усмешкой)*. Ну, вот вы сами и поймались.

Муромский *(тревожно)*. Где?.. Как? Я ничего не сказал.

Варравин. Хе, хе, хе... Сказали... Вы не беспокойтесь; вы всегда скажете то, что нам нужно. Увлечение, говорите вы; — ну это-то самое увлечение и принято во внимание при деле. — Степень этого увлечения и следует определить по закону.

Муромский *(смешавшись)*. Так позвольте... я... я... не в том смысле.

Варравин. А в каком же?.. Ведь вам известно показание двух свидетелей относительно этого самого увлечения, а именно, что между дочкой вашей и Кречинским существовала, уж извините меня, законом воспрещенная близость, которая и была причиною двукратного лишения вас вашей собственности.

Муромский. Пошадите, да это наглая клевета. Это, подвод. Эти два свидетеля выведенного яйца не стоят. Повар мой Петрушка есть негодяй, которого я два раза возил в солдаты, а Расплюев и того хуже — это шулер, бродяга, обитатель острогов, беспаспортный мешанин.

Варравин. Действительно, при следствии оказалось, что он снабжен был просроченным видом, но эта просрочка свидетельского достоинства не снижает.

Муромский. Власть ваша.

Варравин. Итак, касательно этой преступной близости закон имеет два свидетельских показания, и тут, вдруг, как бы игрой судьбы, является факт собственного сознания.

Муромский. Ну это как же?

Варравин. Дочь ваша в минуту, когда она в порыве этого таинственного увлечения отдала ростовщику солитер, сказала: это моя ошибка!.. Слышите?

Муромский. Да не говорила она: это моя ошибка!.. *(Бьет себя в грудь.)* Богом заверяю вас, не говорила!.. Она сказала: это была ошибка... то есть это сделалось и случилось по ошибке.

Варравин. Верю, достопочтеннейший, душевно верю, но затруднение тут, собственно, в том, что все свидетели, бывшие при этой, так сказать, возмутительной сцене, отозвались запямятованием или незнанием, кроме четырех. Четыре эти разделились на две стороны, по численности совершенно равносильные *(показывает на пальцах)*: два — и два... утверждая совершенно противное. Свидетель Расплюев и полицейский чиновник Лапа показали, что дочь ваша сказала: это моя ошибка, — заметьте, и полицейский чиновник — ведь это орган правительства.

Муромский. Хорош орган: я на нем за десять целковых что угодно сыграю.

Варравин. Сыграете, так и ответите. Вы заметили, как закон писан?

Муромский. Как не заметить.

Варравин. Так не хвалитесь. С другой стороны, госпожа Атуева и вы, сударь, показали, что дочь ваша сказала: это была ошибка, опустив местоимение моя. Но показание госпожи Атуевой, как тетки-воспитательницы и лица, нравственно-ответственного в поведении племянницы, не имеет полной силы, а ваше собственное никакой.

Муромский. За что же так жестоко?

Варравин. А за то, что достоверность ваших показаний прямо отвергается законом по поводу ложного показания вашего о быке тирольской породы, который оказался жив, за что и преданы вы рассмотрению суда.

Муромский (*с упреком*). Так, стало, пред вашим законом шулеру Расплюеву больше веры, чем мне.

Варравин (*пожимая плечами*). Ничего не говорю.

Муромский (*покачивая головою*). И со незаконными вменися. Жесток ваш закон, ваше превосходительство.

Варравин. Извините, для вас не переменим. Впрочем, это упоминаю я к тому единственно, чтобы вам уяснить эту самую (*вертит ему рукой перед носом*) обоюдность и качательность вашего дела, вследствие которой закон при всей своей карающей власти, как бы с поднятым кверху мечом (*поднимает руку и наступает на Муромского; этот пятится*), остается по сие время... в недоумении... Хе, хе, хе... (*Ободряя Муромского, который сконфузился.*) Вы понимаете меня... только в недоумении...

Эта часть разговора Варравина с Муромским подверглась самой сильной переделке. И хотя внешне произведенные драматургом поправки и здесь не сразу бросаются в глаза, хотя разговор все время идет о тех же предметах, а кое-где и в тех же выражениях, хотя и результат разговора тот же самый, тем не менее характер, тон его совершенно меняются. А главное меняется степень напряженности, меняется «накал» и, соответственно, меняется сила воздействия этой сцены на зрителей, весь ее эмоциональный строй. В каноническом, окончательном тексте разговор этот написан неизмеримо более остро, более темпераментно — усилено и разоблачение Варравина и утверждение Муромского.

Оснащенное холодными канцеляризмами, многочисленными местоимениями и издевательскими извинениями пространное утверждение: «Ведь вам известно показание двух свидетелей относительно этого самого увлечения, а именно, что между дочкой вашей и Кречинским существовала, уж извините меня, законом воспрещенная близость, которая и была причиной двукратного лишения вас вашей собственности», — превращается в злорадный, грубый и развязный короткий вопрос: «А вам известно показание двух свидетелей об увлечении-то?.. Да напрямик, что-де между дочкой вашей и Кречинским была незаконная связь!» В первом случае словесная петля, ложась на шею Муромского просторным, мягким и вкрадчивым «Ведь вам известно», медленно и садистически долго затягивается всеми этими «относительно», «а именно», «уж извините меня», «которая и была причиной». Во втором случае — «А вам известно» — это прямой, нахальный удар, и циничные приставки-издевки: «об увлечении-то», «что-де» — еще усиливают режущую боль, которую причиняют Муромскому злые, венчающие фразу слова: «незаконная связь», заменившие учтивую и осторожную инверсию: «законом воспрещенная близость».

Под воздействием авторской редакции Варравин преображается. Его язвительные похихикивания («хе, хе, хе»), его приторные попытки изобразить сочувствие («достопочтеннейший», «душевно верю»), его наигранный ужас перед «возмутительной сценой» падения нравов — все это интереснейшее разнообразие проявлений характера безжалостно снимается драматургом ради одной, гораздо более важной цели — ради предельного обострения ситуации, с помощью которого, как это ни парадоксально на первый взгляд, характер Варравина раскрывается гораздо более полно, нежели посредством нюансировки. Сухово-Кобылин, жертвуя многими нюансами, явно руководствуется глубоким пониманием действенной природы театрального искусства. Когда перед драматургом встает вопрос, «что важнее» — обогатить характеристику персонажа теми или иными оттенками или предельно сконцентрировать, обострить действие, жертвуя иными характерными штрихами, — он решительно выбирает

последнее. Заострение создает такие обстоятельства, в которых характер не может не проявиться во всей полноте.

Варравину уже некогда рассуждать с Муромским о сравнительных достоинствах свидетелей той и другой стороны—весь разговор о Расплюеве, о том, что просрочка паспорта «свидетельского достоинства не снижает», просто вычеркивается. Драматургу уже незачем показывать, как язык Варравина вязнет в бюрократических оборотах речи («достоверность ваших показаний... отвергается... по поводу ложного показания... за что и преданы вы рассмотрению суда»), и вместо них появляется прямая, резкая фраза: «Потому, сударь, что вы преданы суду за ложное показание о быкетирольской породы...» — да еще «...которого получили от подсудимого в дар!» Упоминание о «подсудимом» — намек на уголовщину, угроза! И уже окончательно запугивающее: «Помните?..»

Но всего интереснее эволюция, которую претерпели рассуждения Варравина о законе. В первом варианте это были именно рассуждения (по-своему великолепные, особенно финал о законе, который «остается по сие время... в недоумении»), да еще рассуждения, смягченные желанием «ободрить» Муромского, «который сконфузился». Во втором варианте вместо рассуждений — это угроза, шантаж, да еще с прямым указанием на собственный произвол, как единственную решающую силу: «Закон... и по сие еще время спрашивает: куда же мне, говорит, Варравин, ударить?!»

Аналогично и изменение, произведенное автором несколько ранее: вместо слов «степень этого увлечения и следует определить по закону» появились слова: «мы теперь и хотим определить по закону».

Варравин первого варианта хитро прячется за абстракции закона и казуистику бюрократии; Варравин второго варианта прямо говорит, что все: и закон и судопроизводство — у него, Варравина, в кулаке. Варравин первого варианта ведет искусную, тонкую и осторожную игру; Варравин второго варианта решительно наступает.

По этому же принципу обострения ситуации редактирует автор текст реплик Муромского. И Муромский теряет некоторые, казалось бы, ценные оттенки. Он уже не обличает лжесвидетелей с достоинством и превосходством старого барина, не распространяется о том, что повар Петрушка «негодяй», которого он дважды хотел сдать в рекруты, а Расплюев «шулер, бродяга, обитатель острогов», он уже не иронизирует, что на таком «органе правительства», как полицейский Лапа, за десять целковых «что угодно сыграет». До иронии ли Муромскому, когда здесь, сейчас, сию минуту решается его судьба, участь его дочери, когда под угрозой самое его существование, его честь? Некогда ему и сокрушенно цитировать евангельское «со беззаконными вмени с я» — все это безжалостно, с редчайшей писательской самоотверженностью вычеркивается Сухово-Кобылиным. Варравин наступает, Муромский отбивается, отбивается энергично, отчаянно. Он уже не удивляется («Ну как же это?») словам Варравина о «собственном сознании», а «с жаром», категорически, немедленно отвергает их: «Никогда!..» Он уже не разъясняет («Да не говорила она...»), а решительно, убежденно, активно отрицает: «Нет, она не говорила: моя ошибка!» И, наконец, он не спрашивает, сокрушаясь: «За что же так жестоко?» Слова: «Почему так жестоко», — одним дыханием, криком вырываются из его груди.

Это и есть победа Варравина, это и есть полное поражение Муромского.

Стоит перечистить явление шестое второго действия в его окончательном, завершенном виде, чтобы подивиться мастерству драматурга и убедиться в полной оправданности всех принесенных им жертв. Иначе, как самоотверженным, такое мастерство не назовешь.

«Муромский. Уголовное?! Побойтесь бога. За то, что девушка из беды жениха выручает; да она кровь отдаст; примите в соображение ее привязанность, увлечение!

Варравин (с усмешкой). Ну, вот вы сами и поймались.

Муромский (тревожно). Где?.. Как?.. Я ничего не сказал.

Варравин. Сказали... Вы не беспокойтесь; вы всегда скажете то, что нам нужно. *(Лукаво.)* Увлечение, говорите вы, — ну оно нами во внимание и принято. — Степень этого увлечения мы теперь и хотим определить по закону.

Муромский *(смешавшись)*. Так позвольте... я... я... не в том смысле.

Варравин. А в каком?... А вам известно показание двух свидетелей об увлечении-то?... Да напрямик, что-де между дочкой вашей и Кречинским была незаконная связь!..

Муромский *(с страданием)*. Пощадите... Пощадите... это клевета, это подвод... их купили... эти два свидетеля выведенного яйца не стоят.

Варравин. Присяжные, сударь, показания. Сила! А тут как бы игралищем судьбы является и факт собственного сознания.

Муромский *(с жаром)*. Никогда!..

Варравин. Дочь ваша, отдавая ростовщику солитер, сказала: это моя ошибка!.. Слышите ли?! *(Поднимая палец.)* Моя!!

Муромский. Нет — она не говорила, моя ошибка... *(Бьет себя в грудь.)* Богом уверяю вас, не говорила!.. Она сказала, это была ошибка... то есть все это сделалось и случилось по ошибке.

Варравин. Верю, но вот тут-то оно и казусно: все — свидетели, бывшие при этой сцене, отозвались незнанием, кроме четырех. Четыре эти разделились на две равные стороны: два... и два... утверждая противное. Свидетель Расплюев и полицейский чиновник Лапа показали: что она употребила местоимение моя...

Муромский *(перебивая)*. Не употребила! Не употребила! Хотя в куски меня изрежьте — не употребила!..

Варравин. Так точно: вы, сударь, и госпожа Атуева утвердились в показании, что она сказала: это была ошибка, опустив будто существенное местоимение моя... где же истина, спрашиваю я вас? *(Оборачивается и ищет истину.)* Где она, где? Какая темнота!.. Какая ночь!.. и среди этой ночи какая обоюдо-острость!..

Муромский *(с иронией)*. Темнота... Среди темноты ночь, среди ночи обоюдо-острость... *(Пожав плечами.)* Стар я стал, — не понимаю!..

Варравин *(с досадою)*. А вот поймите. *(Твердо.)* В глазах, сударь, закона показания первых двух свидетелей имеют полную силу. Показание госпожи Атуевой, как тетки и воспитательницы, не имеет полной силы, а ваше собственное никакой.

Муромский. Почему так жестоко?..

Варравин. Потому, сударь, что вы преданы суду за ложное показание о быкетиольской породы, которого получили от подсудимого в дар! Помните!..

Муромский. Помню. *(Покачивая головой.)* Стало, по вашему закону шулеру Расплюеву больше веры, чем мне. Жесток ваш закон, ваше превосходительство.

Варравин *(улыбаясь)*. Извините, для вас не переменим. Впрочем... пора кончить; я затем коснулся этих фактов, чтобы показать вам эту обоюдо-острость и качательность вашего дела, по которой оно, если поведете туда, то и все оно пойдет туда... а если поведете сюда, то и все... пойдет сюда...

Муромский *(с иронией)*. Как же это так *(качаясь)* — и туда и сюда?

Варравин. Да! И туда и сюда. Так, что закон-то при всей своей карающей власти, как бы подняв вверх меч *(поднимает руку и наступает на Муромского; этот пятится)*, и по сие еще время спрашивает: куда же мне, говорит, Варравин, ударить?!..

Варравин и Муромский — наглая чиновничья сила и пылкое, но беспомощное благородство — воплощены в этом кратком столкновении с темпераментом и остротой, возможными и достижимыми лишь ценой предельной концентрации действия. Пружина сжата до отказа. Умение довести напряженность до этого предела и составляет ценнейшую особенность мастерства сатирика.